

ПАМЯТЬ



—
СОФЬЯ СИМОНОВА
17 лет. Живу в Саратове.
Я снимаю видео, пишу
рассказы, стихотворения
и поздравления учителям
на дни рождения, слушаю
Эдит Piaф и Мирей Матье.

Небо видит все, даже то, что мы хотим забыть, даже то, что, кажется, не повторится никогда. Поэтому я часто ложусь и смотрю на него, а оно медленно вздыхает, гоняя облака, и напоминает мне все эти дни.

Вот первый. Снежинки летят в лицо, солнце светит, я ложусь на снег и смотрю на небо. А оно такое ослепительно синее, что приходится морщиться, и улыбка сама растягивается по лицу. Вот я вижу маленькие, давно знакомые валенки – неужели и тут меня Катя нашла.

– На-ась, ну На-ась. Мама сказала, что ты со мной на горку кататься пойдешь, она меня одну не пускает! – Бусинки-глазки и реснички, ну прямо как у куколки, и щеки ее, пухлые и розовые, еще сильнее краснеют на морозе.

Я соглашаюсь, встаю, и тут начинается... Она спрашивает без перебора обо всем на свете: почему небо такое голубое, почему ее дергает за косички Боря, почему снег под ногами хрустит, почему зайцы шубку меняют, а собаки – нет... А я иду и улыбаюсь, сама не знаю почему, и хохочу, хохочу, а тут мы еще и Борьку встречаем. Катя сразу делает ну до ужаса серьезное лицо, морщит лоб, хмурит брови и смотрит на него с прищуром.

– Добрый день, товарищ гражданочка!
(Боже, он еще и пухленькую ручонку к шапке с завязками приложил.)

– Отстань, Борька, ну вот что ты ко мне привязался...

А как смотрит-то он на нее – смешно ужасно. Потом мы пошли кататься, дома мама испекла наши любимые пирожки с конфетами, а папа елку в дом принес и Катю на плечи к себе посадил. Все радостно, смешно, калейдоскопом.

Это был последний Новый год, когда я смеялась, когда мы были вместе, когда мы просто были.

И почему-то именно его я вспоминала все эти годы, когда жить становилось невыносимо, когда живот прилипал к ребрам, а искусанные губы саднили...

А потом случилось утро 22 июня: радио, громкоговорители, мамины слезы, Катькины потерянные от испуга глаза и я... А что я? Плакать не хотелось, и страшно не было, стыдно вот только, что я ничего чувствую. Война и война, она же далеко где-то, да? Я в тот день все выбегала на улицу, чтобы на небо посмотреть, не изменилось ли оно. А оно все такое же... синее.

Потом на фронт ушел папа, поцеловал нас с Катькой в макушку крепко, маму так сильно обнял, что она охнула, а потом плакала... долго плакала. Никогда я не забуду его глаза, когда уходил, такие добрые с прищуром, какие только у него были, лишь что-то неуловимое появилось в них. Он прошался с нами, не так, как всегда ут-

ром перед работой, а по-другому... Навсегда прощался.

Война подошла близко, это были уже не слова по радио, а взрывы самые настоящие, небо стало синее и страшнее, его все изрешетили самолеты. Полосы, остававшиеся от них, будто заковали нас в клетку. Никогда не забуду это противное жужжание и холод, не тот приятный, от которого у Катюшки щеки румянились, а другой... Тот, от которого ребра друг о друга вместо зубов стучали и губы болели. На небо смотреть больше не хотелось, вообще глаза открывать страшно было, а не открывать еще страшнее. Помню, как ко мне подошла Катя и вместо обычной тысячи вопросов задала один: «А когда папа вернется?»

Я не знала, и мама тоже, да и папа, наверное, сам не знал. По вечерам мы сидели около керосиновой лампы, Катя угольком на печке рисовала, а мама что-то штопала, иногда вышивала, и вроде все мирно и спокойно, но сердце никогда не успокаивалось, потому что в любой момент... тревога. Громкоговорители, вой сирен, взгляд на дом, как в последний раз, потому что каждый может быть последним. Тесные подвалы, где пахнет сыростью и страхом, Катюшкины слезы, мамы постаревшие глаза, даже Борька, хоть и храбрился, но прижимался к стенке и дышал часто. Катя на него смотрела, а он на нее, и смешного в этом больше ничего не было.

Сирены стали чаще, обращать внимание на них стали реже, многие уже оставались в домах: «Бог убережет, а если прилетит, то нам все равно уже будет». И так меня всегда это пугало, так пугало... все это.

Дни стали похожи на предыдущие, слились в один.

Только вот помню, как приехал большой грузовик, мешая колесами грязный снег и выпуская клубы дыма. Мама тогда на нас посмотрела с отчаянием, а потом в кузов начали грузить детей, все мамы плакали, а наша – нет. Она только дала мне платочек с вышитой птичкой и сказала тихо на ушко: «Береги нашу Катюшу и себя береги. Никогда не забывай ничего, того, что было у тебя, никто не отнимет» – и сжала мое запястье. Потом Катю взяла на руки, обняла так, что та охнула, а потом плакала... долго плакала. В кузове было столько детей, что даже не трясло сильно. Много-много маленьких напуганных лиц, их губки блестели от слез, а на ресницах сразу вырастал иней от мороза. Страшно, ужасно страшно.

Вдруг я увидела, как кто-то лезет через толпу, раздвигает всех пухлыми ручками, и вскоре передо мной появился Борька, он не плакал, только посмотрел на Катюшку и рывкнул: «Не реветь! На войне не плачут, мне так папа сказал». Его нижняя губа задрожала, он сел на корточки, уткнулся мне в бок и заплакал... тихо.

Нас выгрузили рядом с речкой, повели в какое-то здание, потом к нам подошла женщина, представилась Таей, погладила Катю по щеке, а та только отвернулась и меня обняла крепко. Я растерянно улыбнулась и чуть было не заплакала. Отчего? Не знаю, стыдно не было больше, потому что и страшно было, и плакать хотелось. Там и взрывов почти не было слышно... только крики.

На стенах я потом разглядела детские рисунки – здесь раньше была школа. Только вот в классах теперь стояли больничные койки, а на них лежали солдаты – госпиталь.

Уже через неделю я таскала инструменты, какие-то банки, наматывала бинты, катала шарики из ваты. Борька тоже помогал. Катя учебники где-то достала и читала вслух, я ей как-то пыталась на ночь почитать, а она посмотрела на меня серьезно и сказала: «Я не маленькая больше». И правда, на пухленьком детском лице взрослые глаза смотрелись неуместно и... страшно, что ли?

Обо всех ужасах жизни в госпитале я и говорить не буду, скажу только, что фраза «раненых привезли» и звук колесиков, стучащих о бетон, будили меня моментально и заставляли одеться в считанные секунды. Чепчик, вата, много крови, бинт, быстрее, сильнее, выше, каждая секунда – чья-то жизнь.

Удивительно, как в минуту спокойное место превращалось в жужжащий улей, а потом так же быстро стихало. Небо я видела все реже, выходить на улицу было некогда, может, это и к лучшему. Мы часто заходили в палаты к раненым: «Как себе чувствуете, товарищ? Что-нибудь нужно? Скоро будем менять бинты». Многим девочкам было страшно смотреть на их раны, и они смотрели в глаза, чтобы не упасть в обморок, а я – наоборот. Ничего страшнее их лиц для меня не было... бледных, с пустыми, как ямы, глазами. Несмотря на возраст в медкарточке, седина уже тронула их волосы. Катя вообще вопросы задавать перестала и разговаривать тоже. Только вот однажды я увидела ее в палате рядом с койкой одного солдата. Он ей рассказывал что-то, а она смеялась. Я поверить не могла – смеялась, смеялась! Потом ко

мне подбежала, за руку схватила и потащила за собой к койке.

– Настя, это Сергей. Он мой большой друг.

Сергея я знала, он отличался от всех солдат: глаза его совсем не выглядели как ямы, а сияли озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем. Он часто пел, встряхивая своими серебристыми волосами, а другие подхватывали: «Тех слов не забуду, врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не смогли...»

В Катке, как он мне потом рассказывал, Сергей видел свою дочку, Нюрочку, и играл с ней в крестики-нолики, города, слова, учил немецкому и очень смешно пародировал немцев.

Я тоже с ним часто говорила, могла даже ночью к нему прийти, сесть около койки и начать рассказывать что-то про прежнюю жизнь, маму, папу. Катке он рассказывал, что знал нашего отца и воевал с ним рука об руку, говорил, что славный он малый и очень отважный. И тогда у Кати ее взрослые глаза вдруг наполнялись светом и слезами, и голову она сразу поднимала высоко.

Однажды мне пришло сразу два письма. Одно от папы: «Здравствуйте, мои дорогие девочки. Пишу вам, чтобы сообщить о том, что фашистам, говорят, недолго осталось. Скоро вернусь к вам, домой. Мама написала мне, что вас в Саратов увезли, в госпиталь. Не хулиганьте там, помогайте людям и про учебу не забывайте – вам потом заново строить все, что мы наломали. И ждите меня, помните, что я всегда рядом и смотрю за вами. Целую вас в макушки. Ваш папа». А следом мамин... короткое. «Не говори Кате». Конверт, как черная метка, обжег мою руку. «Ушаков Василий Витальевич... героем... защищая Отечество». Я уже видела такие письма, уже многие открывали их при мне и плакали. А я – нет. Я все смотрела на него и понять не могла, совсем ничего понять не могла. Папа? Как папа? Они, верно, перепутали. Не может быть, немцы же, говорят, уйдут скоро... Немцы! Точно, немцы, все из-за них. Папочка... Не говорить Кате, не говорить Кате. Волна ненависти захлестнула меня, я бежала куда-то и плакала, порвалось словно что-то. Вдруг поняла: бывают же ошибки! Нужно спросить у Сергея. Забежала в палату, но на койке его не было. Только выглаженные. Чистые. Простыни.

Выбежала на улицу, споткнулась, упала, замерла, перевернулась на спину, взглянула на небо и... ахнула. Синее, не пугающее синее, не изрешеченное самолетами, а спокойное, как раньше. И хотелось не ненавидеть, а жить, просто жить!

Сергей умер утром 7 мая 1945 года из-за победившей его гангрены, мама 6-го – из-за снаряда, попавшего в наш дом, а папа 3-го... Из-за чего – не написали, написали только то, что погиб героем, защищая Отечество.

А потом... потом была победа, я вспоминаю ликующий голос по радио, губки детей, блестящих от радостных слез, помню обнимающихся Борю и Катю, мои слезы, слезы Таи, рев солдат в палатах, которые повскакивали с коек и, кажется, разом поправились под трехкратное «Ура!».

И уж точно никогда не забуду то небо, синее и спокойное, которое помогло мне остаться человеком, которое помогло мне учиться, заботиться о Кате, пережить смерть близких.

И вот мне снова летят снежинки в лицо, и светит зимнее солнце, и я снова ложусь на снег, делаю снежного ангела, а небо смотрит на меня с озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем.

